

УДК 821.161.1“1920–1930”

doi 10.17072/2073-6681-2019-4-123-130

ГЕРОЙ АЗИАТСКОГО ФРОНТИРА В СОВЕТСКОЙ ПОЭЗИИ КОНЦА 20–30-х ГОДОВ

Кирилл Сергеевич Соколов

к. филол. н., доцент кафедры русской и зарубежной филологии

Владимирский государственный университет им. Александра Григорьевича

и Николая Григорьевича Столетовых

600000, Россия, г. Владимир, ул. Горького, 81. kirill.sokolov@fulbrightmail.org

SPIN-код: 8020-0967

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-7670-8289>

ResearcherID: C-7515-2019

Статья поступила в редакцию 24.10.2019

Просьба ссылаться на эту статью в русскоязычных источниках следующим образом:*Соколов К. С. Герой азиатского фронта в советской поэзии конца 20–30-х годов // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2019. Т. 11, вып. 4. С. 123–130. doi 10.17072/2073-6681-2019-4-123-130***Please cite this article in English as:***Sokolov K. S. Geroi aziatskogo frontira v sovietskoy poezii kontsa 20–30-kh godov [Hero of the Asian Frontier in Soviet Poetry of the Late 20s – 30s]. Vestnik Permskogo universiteta. Rossiyskaya i zarubezhnaya filologiya [Perm University Herald. Russian and Foreign Philology], 2019, vol. 11, issue 4, pp. 123–130. doi 10.17072/2073-6681-2019-4-123-130 (In Russ.)*

Рассматривается проблема возникновения образа героя-цивилизатора в отечественной лирике в период утверждения советской власти в Средней Азии. Цель исследования – показать, что поэтическое отражение процесса модернизации южных окраин приводит к появлению в советской литературе неоромантической ориенталистики кипплинговского типа. Сравнительно-историческое рассмотрение фронтального героя в поэзии Р. Кипплинга и «большевиков пустыни и весны» в творчестве классиков советской поэзии – Н. Тихонова, В. Луговского и К. Симонова – позволяет не только установить типологическую близость колониальных поэтов, но и выявить примеры прямого заимствования тем, мотивов и образов.

С начала 30-х гг. в советской литературе делались попытки демонстрировать идеологическое превосходство перед Западом через воскрешение имперских культурных мифологем, но обращение к национальному эпическому прошлому не давало соответствий обстоятельствам идеологической борьбы на Востоке, что заставило советских поэтов обратиться к поэтике Р. Кипплинга. Неоромантический колониальный дискурс приспособлялся к образам носителей передовой идеологии – нового «бремени белых», – цивилизующих дикий Туркестан. Из соединения неоромантической стилистики с актуальным вариантом господствующей идеологии к началу 30-х гг. в советской поэзии складывается особый тип ориентального фронтального дискурса, утрачивающего злободневность по мере модернизации советского фронта. Кипплинговская модель стойкого героя-цивилизатора, человека-функции, к концу предвоенного десятилетия подвергается существенной корректировке, что позволяет сделать вывод о том, что раннесоветский эпический идеал покорителя, выполняющего задание партии, постепенно сменяется патерналистской лирической риторикой защитника-освободителя.

Ключевые слова: неоромантизм; советская поэзия; фронт; Николай Тихонов; Владимир Луговской; Константин Симонов; Редьярд Киплинг.

Колониальная, или «ориенталистская», проблематика никогда не становилась определяющей в отечественной литературе и культуре. Несмотря на то что приращение огромных территорий российского государства было по существу

колониальной экспансией, ее модель существенно отличается от классических европейских колониальных практик, легших в основу колониальной теории: «В большинстве случаев культурные различия между метрополией и колонией

опирались на расовые, этнические и лингвистические признаки <...>. Власть осуществляется людьми существенно другими, чем их подданные» [Эткинд 2003: 110–111]. В случае же с отечественной историей происходила своего рода двойная колонизация: «Россия была как субъектом, так и объектом колонизации и ее последствий, таких, например, как ориентализм. Занятое колонизацией иностранных территорий, государство также стремилось колонизовать внутренние земли России. В ответ на это многочисленные народы империи, включая русский, развивали антиимперские, националистические идеи. Эти два направления колонизации России – внешнее и внутреннее – иногда конкурировали, а иногда были неотличимы друг от друга» [Эткинд 2013: 9–10]. В результате, в русской классической литературе оказывается слабо представлена ориенталистская проблематика и ее магистральным сюжетом становится цивилизационная работа с собственным народом, выступающим в своеобразной роли «внутреннего Другого».

Описанная А. Эткиндом модель «внутренней колонизации» в значительной степени применима к истории России имперского периода. Ситуация существенно меняется после 1917 г., когда формирующееся государство заново осваивает окраинные территории, колониально подчиня хозяйственную и культурную жизнь «туземцев» новым правилам.

Идеологической и стилистической реформе подвергается и литература новой метрополии, которая сначала ориентируется на разрушение старого мира, готовя культурный плацдарм для мировой революции, а после XIV съезда ВКП(б) (1925 г.) и с последовавшей в этой связи сменой курса на социалистическое строительство «в отдельно взятой стране» начинает выполнять заказ на укоренение единой передовой идеологии в границах национальной, а с начала 30-х гг. – национальных культурных традиций. Именно в этот период перед формирующимся советским литературным мейнстримом возникает мессианская просветительская задача, вполне сопоставимая с цивилизаторским «бременем белого человека».

Оказавшись в кольце идеологических врагов, советская культура довольно быстро выработала способ воздействия на нового Другого: командировки писателей на Запад и формирование «писательских бригад», направляемых в наиболее важные места социалистического строительства – от первой посевной в свободном Туркестане (1930 г.) и строительства Беломорканала (1933 г.) до сражающейся Испании (1936–1939 гг.) и Монголии (1939 г.). Однако при единстве идеологических установок формы борьбы оказывались

разными. Демонстрация идеологического превосходства перед Западом шла через воскрешение прежних имперских культурных мифологем, связанных с именами Петра Первого и Александра Невского, но обращение к национальному эпическому прошлому, как становится очевидным, не соответствовало обстоятельствам идеологической борьбы на Востоке. В этой связи показателен неудачный опыт модернизировать фольклорную архаику, в частности, поставить былинную эпическую традицию на службу советской власти. В «новине» сказительницы Е. С. Журавлевой «О боях на озере Хасан» былинная стилистика сама дискредитирует себя при столкновении с совершенно чуждыми фольклору историческими деталями и прецедентными текстами:

За той ли границей дальневосточною
Там живут самураи да японские,
По другу сторону Хасана озёрышка
Живут советские могучи богатыри,
Там бойцы живут полиграфотнички,
Командиры живут да сверхурочнички <...>
Из себя оне да очень бойкие,
И глаза у них очень зоркие.
Сзади оне видят и видят спереду,
Высоко оне видят да на воздухе,
Далеко оне видят да в долинушке,
Оне сталинским духом воспиталисе
Ворошиловской смелости набралисе.
Однажды было пора-времечко,
Одна тысяча девятьсот тридцать восьмого годышка
Числа июля двадцать девятого
Как на тую ли сопку Безымянную,
Как на тое ли Хасан да озёрышко,
На советских сильных могучих богатырей
Налетели на них черны вороны,
Наступили самураи да японские <...>
Говорили тут советские богатыри:
– Мы своей земли не отдадим вершка,
А чужой земли не возъмём ногтя. <...>
Как про тую ли битвушку Хасан-озёрную
Знает весь мир и знает вся страна;
Нет таких трудностей, каких бы не преодолели
Сталинские соколы,
Нет таких крепостей, каких бы не разбили
Сильны советски богатыри.
[Миллер 2006: 143–145]

Показательны и вызывающие едва ли не пародийный эффект попытки обращения к узнаваемым формулам прежней литературной традиции у молодых советских поэтов. Например, К. Симонов в поэме «Ледовое побоище» (1937 г.) нарочито подчеркивает лермонтовские аллюзии:

С ладони кожу обдирая,
Пролез он всюю пятерней
Туда, где шлем немецкий краем
Неплотно сцеплен был с броней.

И при последнем издыханье,
Он в пальцах, жестких и худых,
Смертельно стиснул на прощанье
Мясистый рыцарский кадык.

Уже смешались люди, кони,
Мечи, секиры, топоры,
А князь по-прежнему спокойно
Следит за битвою с горы.
[Симонов 1979: 375]

Завершается текст куплетом из «Интернационала», как бы закрепляющим уверенность автора в неизбежности грядущей революции в современной Германии.

Таким образом, и попытка осовременить архаический жанр, и выполнение заказа на демонстрацию преемственности между национальной культурной традицией и новой литературой, прославляющей боевой дух и созидательный героизм советского человека, не достигают своих целей, что обуславливает проблему поиска более адекватной новым обстоятельствам литературной традиции, которая могла бы стать «надежной базой для расцвета советской поэзии, бодрой, сильной, динамичной, именно такой, в какой остро нуждались новые хозяева “вишневого сада”», как отмечает И. Ф. Мартынов. «Исторически сложилось так, что пришедшим в России к власти большевикам достались в наследство от старого мира совсем не те поэты, которые могли бы достойно вдохновить на подвиг и труд строителей новой коммунистической Империи» [Мартынов 1987: 169]. Отсутствие в отечественной литературе значимой ориенталистской темы, рефлексии отношения с Другим, заставляет молодых советских поэтов отказаться от «наследования» близкой традиции и по-модернистски «присвоить» – точнее – «пересоздать» генетически чужую, но соответствующую политической и творческой необходимости.

20-е и 30-е гг. в отечественной поэзии связаны с «киплинговским бумом». Описывая расстановку творческих сил в петроградском Доме Искусств в начале 20-х, В. Б. Шкловский замечает: «Вообще в Ленинграде увлекались сюжетным стихом и Киплингом» [Шкловский 1966: 370]. Интерес к творчеству «певца британского империализма» пережил революцию и, вопреки очевидной противоположности политических взглядов, воплотился в неоромантическом колониалистском пафосе строителей коммунизма на юго-восточных рубежах советской империи. Парадоксальный статус Киплинга в советской критике уже стал предметом изучения [Пичугина, Поплавская 2015: 136–146]. Один из наиболее глубоких и в то же время тенденциозных знато-

ков английской и русской литературы своего времени Д. С. Святополк-Мирский писал: «Сочетание лиризма с конкретной современной тематикой, взятой из областей, прикрытых ранее флером идеализации или простого незнания (ни один из значительных буржуазных писателей не был сколько-нибудь близко знаком с колониальной действительностью), умение черпать лирическое содержание в предметах, лишенных, по представлению буржуазной эстетики, благородства и поэзии, – таковы несомненные качества лучших баллад раннего Киплинга. Но даже в лучших его вещах он лишен человеческой глубины. Он оперирует или простейшими переживаниями, давая их иногда с большой остротой, но не умея углубить их, или основными классовыми страстями в их обнаженной грубости, давая их с большой степенью наготы, но с такой сугубо классовой точки зрения, с какой никакая оценка их невозможна, а возможно только циничское подчинение им» [Мирский 1987: 160]. Но даже «классовая слепота» Киплинга искупалась комплексом свойств, которые новая поэзия приспосабливала для своих целей: «...среди черт, которые с легкостью переносились в советский контекст, были киплинговская прямота и страстность. <...> Он, как и многие советские поэты, поддерживал ценности коллективизма, беззаветной преданности благородной идее, исполнения долга. Киплинг славил технологический прогресс, среди его героев были инженеры, деятельные натуры – те, кто добывается результата» [Hodgson 1998: 1061]. Еще одним востребованным в России свойством поэзии Киплинга была ее «универсальность»: она не ассоциировалась с определенным узнаваемым социальным или интеллектуальным кругом, поэт обращался к читателю не как представитель какой-либо группы или направления. «Этот голос мог служить образцом того, в чем после революции и гражданской войны остро нуждалось общество, – он говорил от имени коллектива, объединенного общими ценностями» [там же]. И если у Киплинга пространством манифестации общих ценностей оказывается колониальный Восток, то «Индией» и «Бирмой» в отечественной поэзии 20-х и 30-х становятся южные и юго-восточные окраины формирующейся новой империи.

Весной 1930 г. создается первая «туркестанская бригада» советских писателей, представляющих «Известия» и Гослитиздат. Освещать полевую кампанию направились в том числе два ярчайших представителя русского поэтического неоромантизма – В. А. Луговской и Н. С. Тихонов. «Это было время действительно замечатель-

ное – время первой большевистской весны, в условиях среднеазиатских республик, в условиях ожесточенной классовой борьбы, байских террористических актов, борьбы за колхозы» [Луговской 1989: 380]. Пафос борьбы как нельзя более точно соответствовал существеннейшим чертам неоромантической «дискурсивной формации»: тяга к стилизации, использование «парадоксального принципа остранения» в повествовании, ирония и оксюморонность, «множественность авторских “я”», тяга к экстремальным ситуациям и трансгрессивным переходам [Липовецкий 2018: 13–18] легко обнаруживаются в дотуркестанском творчестве каждого из «советских Киплингов». Результатом поездки стали опубликованные в 1930 и 1931 гг. книги «Юрга» Н. Тихонова (включавшая «восточные» стихи и баллады 1926–1930 гг.) и «Большевикам пустыни и весны» В. Луговского.

Азиатский фронт советской цивилизации требует от представителя передового строя того же, чего, по Киплингу, требует колониальный фронт от представителя цивилизации, – привития «подлинных ценностей». Декларируемое им «бремя белого человека»:

Неси это гордое Бремя –
Будь ровен и деловит,
Не поддавайся страхам
И не считай обид;
Простое ясное слово
В сотый раз повторй –
Сей, чтобы твой подопечный
Щедрый снял урожай.

Неси это гордое Бремя –
Воюй за чужой покой –
Заставь Болезнь отступить
И Голоду рот закрой;
Но чем ты к успеху ближе,
Тем лучше распознаешь
Языческую Нерадивость,
Предательскую Ложь.

Неси это гордое Бремя
Не как надменный король –
К тяжелой черной работе,
Как раб, себя приневолив;
При жизни тебе не видеть
Порты, шоссе, мосты –
Так строй их, оставляя
Могилы таких, как ты!
[Киплинг 2011: 175]

– становится и бременем советских специалистов, «поднимающих» красный Восток:

Вы, незаметные учителя страны,
Большевики пустыни и весны!
Идете вы разведкой впереди,
Работы много – отдыха не жди.
Работники песков, воды, земли,

Какую тяжесть вы поднять могли!
Какую силу вам дает одна –
Единственная на земле страна!
[Луговской 1988: 270]

«Подобно кипплинговским колониальным чиновникам, они напряженно трудятся вдали от дома, во враждебном окружении. Они так же обязаны жить согласно высоким идеалам. Люди, которым они помогают, по большей части молчаливы, пассивны и зачастую вообще не изображаются» [Hodgeson 1998: 1070]. Для обоих сборников действительно характерно отсутствие индивидуализированных черт в изображении местного населения или врагов. Роль Другого, скорее, выполняет пространство, подвергающееся культивации, а герой-строитель совершает над ним демиургический творческий акт:

Пустыня била ветром в берега,
Она далеко чуяла врага,
Она далеко слышала врагов –
Удары заступа
И шарканье плугов.
<...>
Пустыня зыбилась в седой своей красе.
Шел по округе
Большевистский сев.
[Луговской 1988: 267–268]

Прогресс как противостояние стихии и техники представлен в стихотворении Н. Тихонова «Весна в Дейнау, или ночная пахота тракторами “Виллис”», где «вся тракторная база / Свергает власть оскаленных пустынь» [Тихонов 1981: 181]. Сам же покоритель фронта в стихотворении «Фининспектор в Бухаре» оказывается не воином, а администратором, вызывающим своей силой и мудростью зависть самого Тимура:

Не облако зноя,
Не ветер великий весною,
То мчится инспектор, трубку сосет,
Топчет ковер тишины,
Как будто луна с небывалых высот
Упала в доход казны.
[там же: 189–190]

Героический пафос и романтическое упоение стихиями, впрочем, не вполне соответствовали представлениям литературных идеологов о том, как надо изображать происходящее на южных окраинах страны. Буквально накануне роспуска РАППа Луговской вынужден был выступить на поэтическом совещании с «признанием ошибок», допущенных в книге «Большевикам пустыни и весны»: «Я буду говорить о серьезнейших недостатках книги “Большевикам пустыни и весны”. Этих недостатков в основном три.

Первый недостаток заключается в том, что в этой книге еще слабо отражается классовая борьба. Более или менее четкой партийной постановки вопроса о классовой борьбе в Средней Азии (а это был ожесточенный период классовой борьбы) в этой книге нет.

Затем я взял пустыню как стихию. Вот это стихийничество еще гуляет по книжке “Большевикам пустыни и весны”.

Наконец, третий недостаток книги заключается в том, что большевики пустыни и весны воспринимаются мной преимущественно как пришедшие в Среднюю Азию извне. У меня дан недостаточно четко массовик – туркмен и узбек в обстановке Средней Азии» [Луговской 1989: 381].

Работа над ошибками началась незамедлительно: вторая туркестанская книга Луговского (1933 г.) открывается романтической исповедью «Сын кулябского нищего», где герой стихотворения, в 20-м году примкнувший к отряду «великого Фрунзе», занят борьбой с классовым врагом и мечтает о партийной учебе:

Но славная Красная Армия
глаза мои открывала,
Она по тропинкам грамоты
упорно меня вела –
И вывела именем Партии,
к высокому перевалу,
Откуда Ленин увидел
невиданные дела.
<...>
Смотри – наступает утро.
Походный костер погас.
Мы окружим последних,
и я уеду учиться.
Прощай, дорогой товарищ,
слушавший мой рассказ!
Наша огромная Партия
сыновей своих помнит и знает.
Я – скромный работник Партии,
я – поле перед дождем.
Но если ученье Ленина
человека перерождает, –
Я, сын кулябского нищего,
был перерожден.
[Луговской 1988: 310, 311–312]

Так же – в форме, близкой к исповеди, но на этот раз старого басмача, – строится центральная часть поэмы «Дангара» (1934 г.). Ее главное достоинство Д. С. Святополк-Мирский видит в том, что «Луговской решительно отходит в ней от господствующих в нашей повествовательной поэзии лирического или орнаментально-образного стиха и стремится к созданию чисто эпического стиля, “в лоб”, “по-прозаически” подходящего к сюжету. Несомненно, что такой стиль

глубоко созвучен духу социалистического реализма» [Мирский 1987: 302]. Добавим, что названные критиком стилистические черты, «созвучные духу социалистического реализма», в меньшей степени соответствуют духу неоромантических баллад Киплинга.

Таким образом, из соединения неоромантической стилистики с актуальным вариантом господствующей идеологии к началу 30-х гг. в советской поэзии складывается особый тип ориентального фронтального дискурса, утрачивающего свою злободневность по мере модернизации советского фронта. К середине 30-х перестают издаваться и книги стихотворений Киплинга, а его творчество начинает оцениваться как безоговорочно декадентское, «империалистическое», классово враждебное. В конце десятилетия военные и политические события на Западе почти полностью перекрывают интерес к ориентальной тематике. Одним из немногих исключений может считаться поэма К. Симонова «Далеко на Востоке» (1939–1941 гг.), посвященная военному конфликту на Халхин-Голе. При очевидной ориентации автора на киплинговские образцы экспансионистский цивилизаторский пафос покорителя фронта в конце 30-х вытесняется из советской поэзии социально более приемлемыми формами «лирического патернализма»: «Предвоенные стихи Симонова – имперские и экспансионистские, но стремление к экспансии переживается в них как готовность защитить все слабое и неизвестное <...> Герой Симонова – солдат и поэтому – мужчина. Симонов вернул герою советской поэзии не просто гендерную принадлежность, но и специфически мужское чувство телесного преодоления физических испытаний. Официально одобренные империалистические амбиции оправдывали “ползучее” возвращение в лирику Симонова мужских привязанностей и интересов ...» [Кукулин 2014: 17].

В броневом стекле вниз и вверх метались холмы.
Не было больше ни неба,
ни солнца,
только узкий кусок
земли, в которую надо стрелять,
только они
и мы.
Только мы
и они,
которых надо вдавить в этот песок.
– За Родину –
значит за наше право
раз и навсегда
быть равными перед жизнью и смертью,
если нужно – в этих песках.
За мою мать,
которая никогда

не будет плакать, прося за сына,
у чужеземца в ногах.
– За Родину –
значит за наши русские в липах и тополях города,
где ты бегал мальчишкой,
где, если ты стоишь того,
будет памятник твой.
За любимую женщину,
которая так горда,
что плюнет в лицо тебе,
если ты трусом вернешься домой.
[Симонов 1979: 480–481]

Для советского танкиста уничтожение врага становится средством завоевания не территории, но расположения любимой женщины. Характерно также «сужение перспективы» – подмена идеологических абстракций интимным пространством личной истории. Перевод имперского героического дискурса в гендерное русло происходит повсеместно и находит отражение, например, в специфическом лиризме песни на стихи А. Д'Актиля «Принимай нас, Суоми-красавица».

С началом Великой Отечественной войны колониальная героика естественным образом уходит из советской поэзии. Уходит и ее ролевая модель – кипплинговский герой, что становится предметом рефлексии в воспоминаниях того же К. Симонова: «Кстати сказать, в первый же день на фронте в 1941 году я вдруг и навсегда разлюбил некоторые стихи Кипплинга, которые очень долго и очень упорно любил, любил еще на Халхин-Голе. Кипплинг и после 41-го года не перестал для меня существовать как интересный поэт, многие стихи которого мне продолжают нравиться».

Но кипплинговская военная романтика, все то, что, минуя существо стихов, подкупало меня в нем в юности, вдруг перестало иметь какое-либо отношение к той войне, которую я видел, и ко всему тому, что я испытал. Все это в 41-м году вдруг показалось далеким, маленьким и нарочито напряженным, похожим на ломающийся мальчишеский бас» [Симонов 1985: 29].

Возникший в советской поэзии образ покорителя-цивилизатора азиатского фронта оказался недолговечен как в силу исторических, так и идеологических причин. Установление новой власти и колхозного строя на южных окраинах СССР и начало войны лишили его актуальности. К тому же неоромантический герой-индивидуалист, противостоящий в первую очередь стихиям, а не классовому врагу, не соответствовал идеологическому стандарту строителя коммунизма. Именно последнее обстоятельство помешало мифологизации этого образа в массовом сознании, в отличие от стахановцев, челюскин-

цев, метростроевцев, папанинцев, хетагуровок и прочих коллективных героев советской эпохи. Сам же Кипплинг, чья поэзия оказала едва ли не определяющее воздействие на формирование ориенталистского дискурса в русской поэзии 30-х гг., был на несколько десятилетий вычеркнут из отечественного культурного контекста.

Список литературы

- Киплинг Р.* Избранные стихи из всех книг / сост., ред. новых переводов, послесл. и примеч. В. Бетаки. Б.м.: Salamandra P. V. V., 2011. 331 с.
- Кукулин И. В.* Лирика советской субъективности: 1930–1941 // Филологический класс. 2014. № 1(35). С. 7–19.
- Липовецкий М. Н.* Неоромантизм в русской поэзии XX–XXI веков: смысл и границы понятия // Филологический класс. 2018. № 1(51). С. 13–18.
- Луговской В. А.* Собрание сочинений: в 3 т. Т. 1: Стихотворения / сост. и подгот. текстов Е. Быковой-Луговской; вступ. ст. И. Л. Гринберга. М.: Худож. лит., 1988. 477 с.
- Луговской В. А.* Собрание сочинений: в 3 т. Т. 3: Поэмы; Проза / сост. и подгот. текстов Е. Быковой-Луговской. М.: Худож. лит., 1989. 525 с.
- Мартынов И. Ф.* Кипплинг и Гумилев – поэты двух империй. К вопросу о судьбе поэтического наследия Р. Кипплинга в России // Вестник русского христианского движения. 1987. № 3(151). С. 166–189.
- Миллер Ф.* Сталинский фольклор / пер. с англ. Л. Н. Высоцкого. СПб.: Академ. проект; Издательство ДНК, 2006. 190 с.
- Мирский Д. П.* Статьи о литературе / вступ. ст. Н. Анастасьева; сост. и коммент. М. Андропова. М.: Худож. лит., 1987. 303 с.
- Пичугина В. С., Поплавская И. А.* Творчество Д. Р. Кипплинга в рецепции русских писателей и критиков первой половины XX в. // Вестник Томского государственного университета. Филология. 2015. Вып. 6(38). С. 136–146.
- Симонов К. М.* Собрание сочинений: в 10 т. Т. 1: Стихотворения. Поэмы. Вольные переводы / вступ. ст. Л. Лазарева; коммент. А. Александровой. М.: Худож. лит., 1979. 670 с.
- Симонов К. М.* Собрание сочинений: в 10 т. Т. 10: Далеко на Востоке (Халхин-Гольские записки). Япония-46. Воспоминания / подгот. текста и примеч. Л. Лазарева. М.: Худож. лит., 1985. 624 с.
- Шкловский В. Б.* Жили-были: воспоминания, мемуарные записи, повести о времени: с конца XIX в. по 1964 г. М.: Сов. писатель, 1966. 552 с.
- Эткинд А.* Русская литература, XIX век: Роман внутренней колонизации // Новое лит. обозрение. 2003. № 1(59). С. 103–124.

Эткинд А. Внутренняя колонизация. Имперский опыт России / авториз. пер. с англ. В. Макарова. М.: Новое лит. обозрение, 2013. 448 с.

Hodgeson K. The Poetry of Rudyard Kipling in Soviet Russia // *The Modern Language Review*. 1998. № 4 (Vol. 93). P. 1058–1071.

References

Kipling R. *Izbrannye stikhi iz vsekh knig* [Selected verses from all books]. Comp., ed. of new translations, afterword by V. Betaki. Sine loco, Salamandra P. V. V., 2011. 331 p. (In Russ.)

Kukulin I. V. *Lirika sovetskoy sub'ektivnosti: 1930–1941* [Poetry of the Soviet subjectivity: 1930–1941]. *Filologicheskii klass* [Philological Class], 2014, issue 1(35), pp. 7–19. (In Russ.)

Lipovetsky M. N. *Neoromantizm v russkoy poezii 20–21 vekov: smysl i granitsy ponyatiya* [Neoromanticism In Russian poetry of the 20th–21st centuries: Meaning and scope of the concept]. *Filologicheskii klass* [Philological Class], 2018, issue 1(51), pp. 13–18. (In Russ.)

Lugovskoy V. A. *Sobranie sochineniy: v 3 t.* [Collected works in 3 vols.]. Comp. and ed. by E. Bykova-Lugovskaya, preface by I. L. Greenberg. Moscow, Khudozhestvennaya Literatura Publ., 1988, vol. 1. *Stikhotvoreniya* [Poems]. 477 p. (In Russ.)

Lugovskoy V. A. *Sobranie sochineniy: v 3 t.* [Collected works in 3 vols.]. Comp. and ed. by E. Bykova-Lugovskaya. Moscow, Khudozhestvennaya Literatura Publ., 1989, vol. 3. *Poemy; Proza* [Poems; Prose]. 525 p. (In Russ.)

Martynov I. F. Kipling i Gumilev – poety dvukh imperiy. K voprosu o sud'be poeticheskogo naslediya R. Kiplinga v Rossii [Kipling and Gumilev as poets of the two empires. On R. Kipling's poetic legacy In Russia]. *Vestnik russkogo khristianskogo dvizheniya* [Russian Christian Movement Herald], 1987, issue 3(151), pp. 166–189. (In Russ.)

Miller F. *Stalinskiy fol'klor* [Folklore of the Stalin era]. Transl. from Eng. by L. N. Vysotskiy. St. Petersburg, Akademicheskii Proekt Publ., DNK Publ., 2006. 190 p. (In Russ.)

Mirskiy D. P. *Stat'i o literature* [Essays on literature]. Preface by N. Anastas'ev, comp. and comm. by M. Andronov. Moscow, Khudozhestvennaya Literatura Publ., 1987. 303 p. (In Russ.)

Pichugina V. S., Poplavskaya I. A. *Tvorchestvo D. R. Kiplinga v retseptsii russkikh pisateley i kritikov pervoy poloviny 20 v.* [Works of J. R. Kipling in the reception of Russian writers and critics of the first half of the 20th century]. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya* [Tomsk State University Journal of Philology], 2015, issue 6 (38), pp. 136–146. (In Russ.)

Simonov K. M. *Sobranie sochineniy: v 10 t.* [Collected works in 10 vols.]. Preface by L. Lazarev, comments by A. Aleksandrova. Moscow, Khudozhestvennaya Literatura Publ., 1979, vol. 1. *Stikhotvoreniya. Poemy. Vol'nye perevody* [Verses. Poems. Free Translations]. 670 p. (In Russ.)

Simonov K. M. *Sobranie sochineniy: v 10 t.* [Collected works in 10 vols.]. Moscow, Khudozhestvennaya Literatura Publ., 1985, vol. 10. *Daleko na Vostoke (Khalkhin-Gol'skie zapiski). Yaponiya-1946. Vospominaniya* [Far in the East (Khalkhin Gol notes). Japan-1946. Memoirs]. 624 p. (In Russ.)

Shklovskiy V. B. *Zhili-byli: vospominaniya, muarnye zapisi, povesti o vremeni: s kontsa 19 v. po 1964 g.* [Once upon a time: Memoirs, memoir notes, novels on time: From the late 19th century to 1964]. Moscow, Sovetskiy Pisatel' Publ., 1966. 552 p. (In Russ.)

Etkind A. *Russkaya literatura, 19 vek: Roman vnutrenney kolonizatsii* [Russian literature, the 19th century: Novel of internal colonization]. *Novoe literaturnoe obozrenie* [New Literary Observer], 2003, issue 1(59), pp. 103–124. (In Russ.)

Etkind A. *Vnutrennyaya kolonizatsiya. Imperskiy opyt Rossii* [Internal colonization. Russia's imperial experience]. Transl. from Eng. by V. Makarov. Moscow, Novoe Literaturnoe Obozrenie Publ., 2013. 448 p. (In Russ.)

Hodgeson K. The poetry of Rudyard Kipling in Soviet Russia. *The Modern Language Review*, 1998, issue 4 (vol. 93), pp. 1058–1071. (In Eng.)

HERO OF THE ASIAN FRONTIER IN SOVIET POETRY OF THE LATE 20s – 30s

Kirill S. Sokolov

Associate Professor in the Department of Russian and Foreign Philology

Vladimir State University named after Alexander and Nikolay Stoletovs

81, Gorkogo st., Vladimir, 600000, Russian Federation. kirill.sokolov@fulbrightmail.org

SPIN-code: 8020-0967

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-7670-8289>

ResearcherID: C-7515-2019

Submitted 24.10.2019

The paper deals with the image of the hero-civilizer that appeared in Russian poetry during the establishment of the Soviet system in Central Asia. The research aims to argue that poetical reflection of the modernization on the Southern frontier gave rise to oriental neoromanticism of the Kiplingian type in early Soviet literature. The comparative studies of Kipling's characters and 'the Bolsheviks of the Desert and Spring' in the writings of classic Soviet poets (Nikolay Tikhonov, Vladimir Lugovskoy, Konstantin Simonov) reveal the typological proximity of the colonial poetics and allow us to identify multiple examples of the direct borrowing of poetic themes, motifs and forms.

The ideological superiority over the West was consolidated in Soviet Russia in the early 30s through resurrection of the imperial mythologems. However, addressing the national epic past did not meet the conditions of the ideological struggle in the South-East, which compelled Soviet poets to refer to the colonial poetics of Rudyard Kipling. The neoromantic colonial discourse was manifested through poetry depicting the men of the new ideology – bearers of the new 'white man's burden' who were civilizing the wild Turkestan. By the early 30s, the combination of the neoromantic style and current ideology produced a specific type of Soviet oriental discourse that was gradually losing its topicality as a consequence of modernization of the Soviet frontier. The Kipling-like model of the firm civilizer, the man of duty, had been seriously corrected by the end of the pre-war decade. It can be concluded that the early Soviet epic ideal of the conqueror carrying out the task of the Party gradually gave place to the paternalistic rhetoric of the protector-liberator.

Key words: neoromanticism; Soviet poetry; frontier; Nikolay Tikhonov; Vladimir Lugovskoy; Konstantin Simonov; Rudyard Kipling.